

До конца твоих дней



Алина Сулсманова

Алина Сулейманова

До конца твоих дней

<https://litres.ru/74435147>

SelfPub; 2026

Аннотация

Лето 1963 года. Нью-Берн, Северная Каролина. Восемнадцатилетняя Элис Грин, дочь богатого плантатора, влюбляется в Джека Кэллоуэя — простого плотника с руками, пропахшими сосновой смолой, и серыми глазами, как небо перед грозой. Их любовь — тайная, невозможная, настоящая. Но когда лето заканчивается...

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Алина Сулейманова

До конца твоих дней

Глава

Глава 1. Запах соли и хвои

Рассказчик: Элис Грин

Лето 1963 года выдалось в Нью-Берне особенно душным. Воздух стоял густой, как патока, и даже чайки, казалось, обленились настолько, что предпочитали сидеть на сваях причала, а не парить над водой. Мне было восемнадцать, и я ненавидела этот город всеми фибрами души. Ненавидела липкую жару, moskitov, размеренную скуку, от которой хотелось выть, и, конечно же, дом моей бабушки — огромный белый особняк с колоннами, который местные называли не иначе как «Усадьба Гринов». Для всех я была Элис Грин, внучка судьи Уильяма Грина, девушка из хорошей семьи, будущая студентка Рэдклиффа. Для всех, кроме него.

Джек Кэллоуэй работал на лесопилке. Я впервые увидела его, когда он выгружал сосновые доски с грузовика. Мускулы на его руках перекачивались под загорелой кожей, а рубашка, мокрая от пота, прилипала к спине. Волосы у него были цвета тёмного мёда, а глаза — странного, почти прозрачного серого цвета, как небо перед грозой. Он не был похож на

мальчиков, с которыми меня знакомили на летних приёмах. Те носили начищенные туфли и говорили о политике, стараясь казаться старше. Джек пах сосновой смолой и солью. И он умел молчать так, что молчание это было красноречивее любых слов.

Мы познакомились случайно. Я гуляла вдоль реки, пытаюсь сбежать от очередного скучного обеда, на котором мать обсуждала с подругами мой будущий «удачный брак». В тот день я надела единственное платье, которое считала сносным — лёгкое, голубое, в мелкий белый горошек. Оно развевалось на ветру, и я чувствовала себя героиней какого-то романа, но мне было всё равно, как это выглядит со стороны. Джек сидел на перевёрнутой лодке у самой кромки воды и строгал ножом кусок дерева. Стружки падали ему под ноги, и он не поднял глаз, даже когда я подошла почти вплотную.

— Это частный берег, — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал высокомерно. Получилось плохо, потому что от него действительно пахло хвоей, и от этого странно кружилась голова.

— Я знаю, — ответил он, не отрываясь от своего занятия. — Только я не вижу здесь никакого забора.

Он наконец поднял взгляд, и я увидела, что один глаз у него чуть темнее другого. От этого его лицо казалось живым, неправильным, настоящим. Я не нашлась, что ответить. Впервые в жизни я стояла перед человеком, которому было всё равно, кто я такая. И впервые в жизни мне захотелось

доказать, что я — это не только моя фамилия.

— Что ты строгаешь? — спросила я, чтобы хоть как-то нарушить тишину.

— Птицу, — коротко бросил он. — Чайку. Она никак не хочет получаться.

Он протянул мне деревянную фигурку. Она была грубой, незаконченной, но в изгибе крыльев уже угадывалась та самая стремительная лёгкость, ради которой и стоит мастерить. Я покрутила её в руках и вдруг поняла, что улыбаюсь.

— Красиво, — тихо сказала я.

Джек усмехнулся одними уголками губ и забрал фигурку обратно.

— Врёшь, — сказал он беззлобно. — Но мне нравится, как ты это делаешь.

Мы стали встречаться у старого причала каждую среду. Я говорила матери, что иду к подруге играть в теннис, а сама сбегала через сад, через живую изгородь, по пыльной тропинке — к реке. Джек всегда приходил первым. Он сидел на своём месте, на перевёрнутой лодке, и строгал. За лето он вырезал для меня целую стаю — семь чаек, одну за другой, и каждая следующая получалась лучше предыдущей. Шестая почти летала, если подбросить её в воздух. Седьмую он не успел закончить.

Наши разговоры были странными. Мы не говорили о будущем. Джек никогда не спрашивал, куда я поеду осенью, не интересовался моими планами, не заводил разговоров о

моём приятеле Генри, который каждый вечер звонил мне из Чарльстона и говорил о том, как скучает. Мы говорили о вещах, которые не имели никакого отношения к реальной жизни. Он рассказывал мне об индейцах, которые когда-то жили на этих берегах, о повадках акул, о звёздах, которые можно увидеть только в августе. Я читала ему стихи, которые запрещали читать в пансионе. Мы были как два путешественника, случайно оказавшиеся в одной лодке посреди огромной реки. И пока лодка плыла по течению, можно было не думать о том, где находится берег.

Однажды он привёл меня на лесопилку. Было воскресенье, и рабочие разошлись по домам. Джек показал мне штабеля досок, огромные механические пилы, покрытые опилками, и маленькую каморку, где он иногда ночевал. В каморке пахло машинным маслом и табаком, и на стене висела выцветшая открытка с изображением Парижа.

— Отец привёз, — коротко объяснил Джек.

Он замолчал, и я впервые увидела, как на его скулах играют желваки. Мне захотелось обнять его. Я сдержалась. В нашем мире это было не принято.

Вечером того же дня мы пошли на пляж. Шторм собирался над океаном, тяжёлый, лиловый, как синяк. Ветер трепал волосы, и юбка хлестала меня по ногам. Джек достал из рюкзака старую скрипку. Я не знала, что он умеет играть. Он провёл смычком по струнам, и над пустым пляжем поплыла мелодия — печальная, тягучая, похожая на крик одинокой

птицы. Я закрыла глаза и вдруг поняла, что плачу. Джек перестал играть и посмотрел на меня тем самым взглядом, от которого у меня всегда замирало сердце.

— Ты вернёшься осенью, Элис, — сказал он тихо. — Уедешь в свой колледж, выйдешь замуж за человека, которого любят твои родители, и будешь жить долго и правильно. Я не прошу тебя остаться. Я только прошу: запомни этот вечер. Запомни, как пахнет океан перед грозой. Когда тебе будет плохо, вспомни этот запах. Он вернёт тебе меня.

— Я не хочу уезжать, — прошептала я, но слова мои унесло ветром.

Джек промолчал. Он просто взял мою ладонь и вложил в неё что-то маленькое и тёплое. Я разжала пальцы. Это была седьмая чайка. Крошечная, с обломанным крылом.

— Она не вышла, — сказал Джек. — Я не смог сделать её красивой. Но она — моя. И она всегда будет с тобой.

В ту ночь я не спала. Я лежала в своей комнате с балдахином, смотрела в потолок и прижимала к груди грубую деревянную фигурку. Где-то за окном шумел океан, и мне казалось, что он зовёт меня по имени. Я знала, что через две недели уеду. Знала, что мать уже готовит мой гардероб. Знала, что Генри будет встречать меня на вокзале с букетом белых роз. И всё же в ту ночь я была счастлива. Потому что впервые в жизни мне было что вспоминать.

Через девять дней отец Джека утонул на озере. Это случилось на лесопилке, но все говорили, что он был там, где

лес встречается с водой, и что его забрала река. Джек исчез из города в тот же день. Мне сказали, что он уехал в Чарльстон к тётке. Я ждала его у причала каждую среду до самого отъезда. Он так и не пришёл. Я уехала в колледж, держа в ладони обломанную деревянную чайку, и пообещала себе, что никогда больше не буду плакать.

Глава 2. Письма, которые не долетели

Рассказчик: Джек Кэллоуэй

Осень 1963 года

Я никогда не верил в судьбу. Мой отец говорил, что человек сам куёт свою жизнь, как кузнец куёт подкову: бьёшь молотом по раскалённому металлу, и либо получится ровно, либо треснет. Но той осенью я впервые задумался о том, что есть вещи, которые не поддаются ни молоту, ни воле. Есть письма, которые пишутся не рукой, а сердцем. И если они не долетают до адресата, значит, так было задумано кем-то, кто сильнее нас.

Я уехал из Нью-Берна в конце августа, через четыре дня после похорон отца. Мать не плакала — она просто сидела на кухне и смотрела в окно, словно ждала, что он вот-вот вернётся с лесопилки, как обычно, в пропахшей смолой рубаше. Я не мог находиться рядом с этой тишиной. Мне нужно было бежать. От города, от людей, которые шептались за спиной, от запаха реки, которая забрала отца. И от неё. От Элис.

Я знал, что она ждёт меня у причала. Знал каждой клет-

кой своего тела. По средам она приходила, садилась на нашу перевёрнутую лодку и смотрела на воду. Я видел её однажды издалека, уже из окна автобуса. Она была в том самом голубом платье, и ветер играл с её волосами так же, как в тот первый день. Я чуть не вышел. Рука сама потянулась к поручню. Но автобус тронулся, и её силуэт растаял в мареве августовского полдня. Я закрыл глаза и представил, как она оборачивается. Представил, что бегу к ней. Представил, что всё будет иначе.

Но ничего не изменилось бы. Она всё равно уехала бы в свой Рэдклифф. Её мать всё равно смотрела бы на меня как на грязь под ногтями. А я всё равно остался бы сыном плотника, который даже не смог уберечь отца от его собственной печали. Поэтому я сжал зубы и позволил автобусу увезти меня прочь. В Чарльстон. К тётке, которая держала пансион для моряков.

Пансион назывался «Три якоря», но якоря там было только два — третий, по словам тётки, утонул вместе с каким-то капитаном ещё до моего рождения. Мне дали крошечную комнату под самой крышей. Окно выходило в порт, и по ночам я слышал, как гудят пароходы. Звук был низкий, протяжный, как стон огромного зверя. Я лежал без сна и слушал его часами. Думал об Элис. О том, как она смеялась, когда я вырезал очередную чайку. О том, как в тот вечер на пляже она стояла босиком на мокром песке, и слёзы текли по её щекам. Я хотел написать ей. Тысячу раз хотел. Но что я мог

сказать? «Прости, я не пришёл. Прости, я не попрощался. Прости, я жив»?

Я работал в порту. Грузчик. Таскал мешки с зерном, ящики с рыбой, бочки с патокой. Работа была тяжёлая, но честная. К вечеру спина ныла так, что я едва мог разогнуться. Но мне нравилась эта боль. Она заглушала другую — ту, что жила где-то под рёбрами и не давала дышать. По вечерам я садился у окна и вырезал ножом из сосновых обрезков новые фигурки. Теперь это были не чайки. Я резал волны. Огромные, изогнутые, застывшие в полувзмахе. В них не было смысла. Только движение.

Однажды тётка вошла без стука и увидела, чем я занимаюсь. Она долго молчала, перебирая фартук, потом спросила: — Кто она?

Я не ответил. Тётка вздохнула, села на край кровати и провела ладонью по моим волосам, как в детстве.

— Ты похож на отца, — тихо сказала она. — Он тоже любил так, что не знал, куда девать эту любовь.

Мне стало страшно от этих слов. Потому что я и сам слышал этот зов. В гудках пароходов, в шорохе опилок под ногами, в тишине пустой комнаты. Вкус у него был солёный, как у океана, и тягучий, как смола. Имя ему было Элис.

Шли недели. Я всё не писал. А потом, в середине октября, произошло то, чего я не ожидал. Тётка принесла мне конверт. Без обратного адреса, с штемпелем Бостона. Мой адрес ей мог дать только один человек на свете. Моя мать. Она,

видимо, рассказала матери Элис, где я. И та, вопреки всему, не выкинула это из головы.

Я вскрыл конверт дрожащими руками. Внутри лежал один лист, исписанный аккуратным, но летящим почерком. Я сразу узнал эти буквы. Элис так писала стихи — на салфетках, на полях книг, на песке палочкой.

«Джек. Я ждала тебя у причала до самого отъезда. Теперь я в колледже. Здесь холодно, и все говорят только о баллах и женихах. Я не пишу тебе стихов, потому что боюсь, что ты сочтёшь меня глупой. Но я всё ещё помню, как пахнет океан перед грозой. Я всё ещё слышу твою скрипку. Мама выбросила мои деревянные чайки. Все семь. Точнее, шесть. Седьмую я спрятала под подкладкой чемодана. Она со мной. Она — моя. Напиши мне хоть слово, чтобы я знала, что ты жив. Просто «жив». Больше ничего не нужно. Элис».

Я прочитал это письмо, наверное, раз двадцать. Поднёс листок к лицу и вдохнул. Бумага пахла духами. Те же белые лилии, что и летом. Я закрыл глаза и увидел её. Увидел так ясно, словно она стояла передо мной. Увидел, как она сидит в жёсткой университетской аудитории, с тоской глядя в окно, где вместо пальм — серые бостонские фасады. И мне захотелось немедленно сесть на поезд и уехать к ней. Прямо сейчас. Прямо в этой грязной портовой куртке.

Но я не мог. Между нами лежала не просто дистанция в несколько сотен миль. Между нами лежала её мать. Мой пустой карман. Её будущее. Мой страх. Я боялся, что она по-

смотрит на меня однажды и поймёт, что ошиблась. Что деревянные чайки — это просто деревянные чайки. Что скрипка — это просто скрипка. А я — просто парень из Нью-Берна, от которого пахнет рыбой и смолой.

Я сел писать ответ. Писал до рассвета. Рвал, комкал, начинал заново. В конце концов оставил одно предложение: «Жив. И люблю».

Больше ничего. Я отправил письмо утром и поклялся, что это будет моё последнее письмо. Потому что писать о любви легче, чем нести её в себе. А я не хотел обманывать её. И себя.

Ответ пришёл через две недели. В конверте лежал засушенный лист магнолии и одна строчка:

«Тогда приезжай. Или хотя бы скажи, куда мне ехать самой».

Я не ответил. Я не приехал. Я не сказал. Я просто продолжал работать в порту, резать деревянные волны и вдыхать запах соли и хвои, который преследовал меня повсюду. А письмо лежало под подушкой, и я перечитывал его каждую ночь, пока буквы не начинали расплываться перед глазами.

Мне было двадцать. Я был жив. И любил.

Но с каждым днём всё отчётливее понимал, что любовь без поступка — это просто одинокое письмо в бутылке, которое никто никогда не найдёт.

Глава 3. Тень Генри

Рассказчик: Элис Грин

Бостон, зима 1963 года

Зима в Бостоне пахла мокрой шерстью, углём и чужими духами. Она была не похожа на зиму моего детства, когда даже в самые холодные дни с океана долетал солёный ветер, и в нём всё равно угадывался привкус лета. Здесь всё было чужое. Даже снег падал как-то иначе: тяжело, безнадёжно, словно сам устал от собственной белизны. Я ходила на лекции, слушала профессоров, записывала в тетрадь длинные колонки дат и имён, но мысли мои были далеко. Точнее, они были в одном-единственном месте — на старом причале в Нью-Берне, где осенью, как говорили, начали гнить доски. Тётушка моей соседки по комнате писала, что причал закрыли для посторонних. Будто я была посторонней.

Писем от Джека не было. Я написала ему дважды. Первое — то самое, которое он, наверное, получил. Второе — отчаянное, на четырёх страницах, где я пыталась объяснить, что его молчание убивает меня. Я отправила его в начале ноября. Ответа не последовало. Я говорила себе, что он занят. Что у него новая работа, новая жизнь. Что Чарльстон — большой город, и почта там, верно, работает из рук вон плохо. Я придумывала тысячу причин, лишь бы не признаваться в главном: он не пишет, потому что не хочет. Потому что то лето было для него не тем, чем стало для меня. Потому что я — просто глупая девчонка, которая поверила в сказку.

Генри звонил мне каждый вечер. Ровно в девять, мину-

та в минуту. Трубку в общежитии подавала дежурная, и всякий раз, когда она выкликала моё имя, я испытывала что-то среднее между раздражением и стыдом. Генри говорил правильные вещи. Спрашивал, как прошёл день. Рассказывал о своих занятиях в юридической школе. Передавал приветы от родителей. Он всегда был таким. Надёжным, предсказуемым, как восход солнца. Наши семьи дружили с моего детства, и я слышала имя Генри Харрисона так часто, что оно стало частью моего собственного существования. Даже когда нас ещё не познакомили официально, я уже знала, что когда-нибудь выйду за него замуж. Это была не моя мысль. Это была аксиома, которую никто не обсуждал.

— Ты сегодня грустная, — сказал он однажды в трубку.

— Я слышу это по голосу.

— Я просто устала, — соврала я.

— Приезжай на Рождество в Чарльстон. Мама будет рада.

Она спрашивала, какой торт ты любишь.

— Белый, с лимонным кремом, — машинально ответила я.

— Значит, решено. Я встречу тебя на вокзале. Куплю билеты. Ты не против?

Я не ответила. Генри принял моё молчание за согласие. Он всегда принимал молчание за согласие. Это была его единственная слабость.

Чарльстон встретил меня промозглым дождём. Генри стоял на перроне с зонтом, в тёмно-сером пальто, из-под кото-

рого выглядывал идеально выглаженный воротник рубашки. Он улыбался той самой уверенной улыбкой, от которой у моей матери теплело на душе. Пахло от него дорогим одеколоном и сигарами — он недавно начал курить, потому что так делали его старшие коллеги.

— Ты прекрасно выглядишь, — сказал он, целуя меня в щёку. — Бостон тебе к лицу. Бледность аристократки.

— Спасибо, — ответила я, чувствуя, как внутри что-то сжимается.

Он взял мой чемодан, и мы пошли к его машине. Новенький «бьюик», тёмно-синий, блестящий от дождя. Генри открыл передо мной дверцу, подождал, пока я сяду, потом обошёл машину и сел за руль. Всё в нём было правильно. До тошноты правильно.

— Ты знаешь, — сказал он, выруливая с вокзальной площади, — я думал о нас. О нашем будущем. Мы уже не дети, Элис. Ты заканчиваешь первый курс, я — юридическую школу. Пора строить планы.

Я смотрела в окно. Дождь стекал по стеклу, искажая очертания старинных домов. Чарльстон был красив, но красотой чужой, музейной. Он не был моим. Мой был Нью-Берн. Мой был причал, который теперь гниёт. Мой был Джек, который не пишет.

— Генри, — тихо начала я, — я не уверена, что готова говорить о будущем.

Он на мгновение перестал улыбаться. Потом снова улыб-

нулся, но уже иначе — снисходительно, как улыбаются детям, которые боятся темноты.

— Понимаю, — сказал он. — Женщинам нужно время. Но я готов ждать. Я всегда был готов ждать.

Мне захотелось крикнуть, что я не прошу его ждать. Что я вообще ни о чём его не прошу. Но я промолчала. Потому что так было проще. Потому что моя мать учила меня: хорошие девочки не кричат. Они улыбаются и делают то, что от них ждут.

В доме Харрисонов пахло корицей и воском. Миссис Харрисон, маленькая, сухонькая, с идеально уложенными седыми волосами, встретила меня объятиями.

— Мы так рады, дорогая! — щебетала она. — Ты, наверное, устала с дороги. Идём, я покажу твою комнату. Она выходит окнами в сад. Летом там цветут камелии.

Меня поселили в розовой комнате с балдахином. Всё в ней было безупречно: свежие цветы на туалетном столике, накрахмаленные наволочки, стопка новых романов на прикроватной тумбочке. Я поставила чемодан на кровать и достала из-под подкладки то, что хранила все эти месяцы. Деревянная чайка с обломанным крылом лежала на моей ладони, тёплая, живая. Я прижала её к губам и закрыла глаза.

В этот момент в дверь постучали.

— Элис, — донёсся голос Генри, — мама приглашает на чай. Ты спускаешься?

— Сейчас, — откликнулась я, поспешно пряча чайку об-

ратно.

За чаем я сидела с идеальной осанкой, улыбалась и подерживала разговор. Миссис Харрисон расспрашивала о колледже, мистер Харрисон разглагольствовал о политике. Генри поглядывал на меня с тем самым выражением собственника, которое появляется у человека, уверенного в исходе сделки. А я смотрела в окно, на мокрый сад, и думала только об одном: как бы сбежать.

Сбежать я не смогла. Рождество прошло как в тумане. Мы с Генри гуляли под руку по набережной, и он говорил о том, какой дом мы построим, когда поженимся. С колоннами. С зимним садом. С библиотекой, где он будет работать по вечерам. Я слушала его и представляла другой дом. Маленький, на сваях, с верандой, выкрашенной в белый цвет. И чтобы пахло сосновой смолой. И чтобы волны разбивались о сваи. И чтобы рядом был человек, который умеет вырезать чаек из дерева.

— Ты меня слушаешь? — вдруг спросил Генри, и в его голосе мелькнуло раздражение.

— Конечно, — я снова надела маску.

— Я спрашиваю, какой ты хочешь медовый месяц.

— Не знаю, — честно ответила я.

Он вздохнул.

— Ты странная, Элис. Вся в себе. Иногда мне кажется, что ты не здесь. Что ты где-то далеко.

— Просто устала, — повторила я свою мантру.

Генри промолчал. А я вдруг поняла, что больше не могу. Что ещё одна минута в этом городе, в этом доме, в этой розовой комнате — и я задохнусь. Что я должна его найти. Джека. Что есть вещи, которые нельзя решить молчанием.

На следующий день, сославшись на мигрень, я покинула дом Харрисонов раньше, чем планировала. Генри проводил меня на вокзал, поцеловал в лоб и сказал, что будет ждать. Я села в поезд, идущий не в Бостон. Я села в поезд, идущий на юг. Туда, где море тёплое, где пахнет солью и хвоей, где в старом пансионе «Три якоря», возможно, всё ещё живёт человек с серыми глазами, которые я не могла забыть.

Я ехала и смотрела в окно. За стеклом проплывали сосны, болота, маленькие городки с белыми церквями. И впервые за много месяцев мне показалось, что я дышу.

В кармане лежала седьмая чайка. Я сжимала её до боли, до белых костяшек.

Я ехала к Джеку. Даже если он не ждал меня. Даже если он не хотел меня видеть.

Я ехала, потому что любовь без поступка — это просто письмо в бутылке.

И я больше не хотела ждать, пока волны выбросят его на берег.

Глава 4. «Три якоря»

Рассказчик: Джек Кэллоуэй

Чарльстон, декабрь 1963 года

В тот день я проснулся с ощущением, что случится нечто важное. Такое бывает: вроде бы всё как обычно — тот же серый рассвет за окном, тот же гудок парохода в порту, тот же холод, заползающий под одеяло, — но воздух будто сгущается, натягивается, как струна перед тем, как лопнуть. Я долго лежал, глядя в потолок, потом встал, умылся ледяной водой и посмотрел на себя в треснувшее зеркало над раковиной. Из отражения глядел усталый парень с ввалившимися щеками и тёмными кругами под глазами. Я не был похож на человека, у которого есть будущее. Я был похож на того, кто застрял между прошлым и настоящим, как доска, застрявшая в пиле.

Тётка гремела кастрюлями внизу. Оттуда поднимался запах жареного бекона и кукурузного хлеба. Дом «Три якоря» жил своей обычной жизнью: жильцы собирались на работу, кто-то кашлял в дальнем конце коридора, где-то хлопала дверь. Я натянул старую фланелевую рубашку, ту самую, в которой работал ещё в Нью-Берне, и спустился в кухню.

Тётка стояла у плиты. Она не обернулась, но я знал, что она слышит мои шаги. У неё был дар чувствовать людей, даже когда она их не видела. Отец говорил, что это фамильное. От индейцев, чья кровь текла в жилах нашей семьи неизвестно с какого поколения.

— Позавтракай, — сказала она коротко. — На улице холодно. Прогреться.

Я сел за стол, налил себе кофе. Тётка поставила передо

мною тарелку, села напротив и вдруг посмотрела на меня так пристально, что мне стало не по себе.

— Сегодня не ходи в порт, — произнесла она тихо. — Останься дома.

— Почему?

— Потому что я тебя прошу.

— Мне нельзя терять подённую плату, — возразил я. — Зима. Работы мало.

Она поджала губы, словно хотела сказать что-то ещё, но передумала. Встала, подошла к окну и долго смотрела на улицу.

— Ты всё ждёшь её, — сказала она наконец. — Я же вижу. Каждое утро смотришь на дорогу так, будто она сейчас появится из-за угла.

Я не ответил. Потому что это была правда. Я ждал. Каждый день, каждую минуту. Даже когда заставлял себя не думать об Элис, всё моё существо было натянуто, как леска, на которую клюнула крупная рыба. Я знал, что она не приедет. Знал, что моё молчание было лучшим ответом для нас обоих. И всё равно ждал.

— Ты похож на человека, который умирает от жажды, сидя у колодца, — вздохнула тётка. — Она написала тебе два письма. Это о многом говорит.

— Это говорит о том, что она добрая, — сказал я глухо. — А я — нет. Я не имею права тянуть её в свою жизнь.

— А кто имеет? — тётка обернулась, и в её глазах блеснул

гнев. — Тот юрист, у которого карманы набиты деньгами отца? Ты думаешь, это и есть право?

Я встал. Разговор заходил туда, куда я не хотел заходить.

— Я пойду, — сказал я. — Работа не ждёт.

Она не стала меня удерживать. Только тихо сказала вслед.

— Будь осторожнее, Джек. Сегодня на улицах ветрено.

Говорят, к вечеру шторм.

Я вышел. Воздух действительно был колючим, пах гарью и мокрым железом. Порт встретил меня привычным гулом: кричали грузчики, скрипели лебёдки, где-то ругался боцман. Я взял крюк и встал в цепочку. Мешки с мукой, бочки с патокой, ящики с копчёной сельдью. Работа была монотонной, изнуряющей, но я любил её за ритм. За то, что в ней не было места мыслям. Только спина, руки, дыхание.

К обеду небо заволокло. Свинцовые тучи низко нависли над водой, и чайки орали так, будто их резали. Я ушёл с причала раньше обычного, потому что бригадир велел убрать снасти. Шторм шёл с моря, и все знали, что это будет за буря. Я шёл по узкой улочке вдоль складов, натянув воротник куртки, и вдруг остановился. Сердце ударило куда-то в горло.

На углу, возле булочной, стояла девушка. Она была в сером пальто, слишком лёгком для такого ветра, и в шляпке, которая съехала набок. Она растерянно оглядывалась по сторонам, прижимая к груди маленький чемодан. Ветер трепал её каштановые волосы, и я узнал их раньше, чем лицо. Я

узнал её по тому, как она стояла — немного неуверенно, по-птичьи. Я узнал её по тому, как сжалось всё внутри.

— Элис, — выдохнул я.

Она не услышала. Ветер уносил звук. Я сделал шаг, потом ещё один. Ноги были ватные. Она обернулась, и наши взгляды встретились.

Время остановилось. В прямом смысле. Я перестал слышать ветер, гудки пароходов, крики чаек. Всё исчезло, остались только её глаза — огромные, карие, испуганные и в то же время полные той решимости, которую я так любил в ней. Она смотрела на меня так, будто не верила, что я настоящий. Потом губы её дрогнули, и она произнесла одно слово:

— Джек.

Я подошёл. Остановился в двух шагах. Мы стояли и смотрели друг на друга посреди пустой улицы, и ветер был над нашими головами, как одинокий зверь. Я хотел сказать что-нибудь. Объяснить. Извиниться. Но все слова казались бессмысленными. Поэтому я просто снял с себя куртку и накинул ей на плечи.

Она заплакала. Беззвучно, просто слёзы потекли по щекам, и она не стала их вытирать. Я обнял её. Впервые в жизни я обнимал её, и это было так естественно, будто мы делали это тысячу раз. Она уткнулась лицом в мою рубашку и что-то шептала, но я не разбирал слов. Только чувствовал, как дрожат её плечи.

— Ты не писал, — выговорила она наконец, отстраняясь.

— Ты не писал, Джек. Я думала, ты забыл меня. Я думала, ты умер. Я думала...

— Я жив, — повторил я слова из своего единственного письма. — Жив и люблю.

Она ударила меня кулачком в грудь. Слабо, как ребёнок.

— Почему ты молчал? Почему ты не отвечал?

— Потому что боялся, — честно сказал я. — Боялся, что испорчу тебе жизнь. Что ты однажды проснёшься и поймёшь, что я — просто грузчик из порта. Что я не достоин тебя.

Она покачала головой. Ветер швырнул ей в лицо прядь волос, и она смахнула её с губ.

— Ты идиот, Джек Кэллоуэй, — сказала она, и в голосе её было столько боли и нежности, что у меня перехватило дыхание. — Я проехала шестьсот миль, чтобы сказать тебе это. Ты — идиот.

Я рассмеялся. Сквозь ветер, сквозь холод, сквозь все эти месяцы одиночества. Она тоже улыбнулась, робко, неуверенно, но всё-таки улыбнулась. И в эту минуту я понял: что бы ни случилось дальше, я никогда не пожалею о том, что встретил её.

— Идём, — сказал я, подхватывая её чемодан. — Шторм начинается. Нужно спрятаться.

Она взяла меня под руку. Мы пошли вниз по улице, и её каблучки стучали по мокрой мостовой. Небо разверзлось, когда мы были уже у дверей «Трёх якорей». Тётка открыла

нам молча, окинула Элис долгим взглядом, потом перевела его на меня и кивнула, будто увидела то, что давно ожидала.

— Заходите, — сказала она. — На улице небезопасно. А у нас как раз готов чай.

Элис вошла в дом. С неё капала вода, пальто потемнело от дождя, но она была прекрасна, как никогда. Тётка протянула ей полотенце и улыбнулась — сухо, одними уголками губ, как умела только она.

— Значит, ты и есть та самая, — произнесла она скорее утвердительно, чем вопросительно.

Элис посмотрела на меня. Потом на тётку. И тихо ответила:

— Если вы про ту, из-за которой он вырезает деревянных чаек по ночам, то да. Это я.

Тётка усмехнулась и покачала головой.

— Ну вот и всё, — сказала она. — Приехала. Теперь посмотрим, что будет дальше.

Шторм бушевал до самого утра. Мы сидели в кухне втроём, пили чай с лимоном и молчали. Но это было хорошее молчание. Тёплое. Как в тот вечер на пляже, когда Джек играл на скрипке, а я слушала и понимала, что жизнь — это не планы, которые строят для тебя другие. Жизнь — это вот такие мгновения. Внезапные, как шторм, и хрупкие, как седьмая чайка с обломанным крылом.

Глава 5. Признание

Рассказчик: Элис Грин

Чарльстон, декабрь 1963 года

Шторм выл за окнами, как раненый зверь. Он бился в стекло, сотрясал стены старого пансиона, и казалось, что дом вот-вот сорвётся с фундамента и улетит в черноту океана. Но мне было спокойно. Впервые за многие месяцы — по-настоящему спокойно. Я сидела на кухне, куталась в чужой вязанный плед, пахнувший табаком и травами, и смотрела, как Джек подбрасывает дрова в печь. Огонь отбрасывал на его лицо тёплые отсветы, и я видела, как двигаются желваки на скулах, как он щурится, глядя на пламя. Он был красивее, чем я помнила. И в то же время совсем другим. В нём появилась жёсткость, которой не было летом. Какая-то внутренняя натянутость, как у человека, который привык держать оборону.

Тётка Рут — так её звали — сидела в углу с вязанием. Спицы мерно постукивали, и этот звук странным образом успокаивал. Она не задавала вопросов. Просто иногда поднимала глаза от своей работы, смотрела на нас поверх очков и снова опускала взгляд. Я понимала, что она наблюдает. Изучает. Такие, как Рут, не верят словам. Они верят поступкам, жестам, молчанию.

— Вам, наверное, нужно поговорить, — произнесла она наконец, откладывая вязание. — Я пойду прилягу. Старые кости к шторму ноют. Джек, покажешь гостье её комнату.

Она встала, подошла ко мне и вдруг накрыла мою ладонь

своей — сухой, тёплой, шершавой.

— Ты не бойся, девочка, — тихо сказала она. — Он хороший. Просто запутался, как мальчик, который слишком долго жил один.

— Я знаю, — ответила я. — Я потому и приехала.

Рут кивнула, поправила шаль на плечах и вышла из кухни. Её шаги стихли на лестнице. Мы остались вдвоём.

Джек сидел у печи, глядя на огонь. Я смотрела на его профиль. В голове крутились сотни фраз, которые я репетировала в поезде. Я собиралась начать с упрёков. Сказать, что его молчание было жестоким. Что я ненавидела его все эти месяцы. Что я ехала сюда только для того, чтобы увидеть его и понять, что он не стоит моих слёз. Но теперь, когда он сидел так близко, когда от него пахло дождём и смолой, все эти слова рассыпались в пыль.

— Почему ты не писал? — спросила я наконец. Голос прозвучал тихо, но твёрдо. — Я хочу знать правду. Всю правду, Джек.

Он повернул голову. В серых глазах плясали отблески огня.

— Ты заслуживаешь правды, — медленно произнёс он. — Но она тебе не понравится.

— Говори.

Он провёл ладонью по лицу, словно смывая усталость.

— Я получил твои письма. Оба. Первое я перечитывал каждый день. Знаешь, бумага пахла твоими духами. Я схо-

дил с ума от этого запаха. Я написал тебе ответ, одно слово: «Жив». Хотел отправить. Но потом подумал: что дальше? Ты ответишь. Я отвечу снова. Мы будем писать друг другу, пока слова не перестанут что-то значить. Пока ты не поймёшь, что я не могу дать тебе ничего, кроме этих писем.

— Ты мог бы приехать, — перебила я. — Ты мог бы просто сесть в поезд.

— Мог бы, — согласился он. — Я стоял на вокзале три раза. Три раза, Элис. Покупал билет до Бостона. И три раза сдавал его обратно.

— Почему?

— Потому что я трус, — ответил он, и в голосе его не было ни капли самооправдания. — Мой отец был храбрецом. Он не боялся ни моря, ни людей, ни работы. Но он не смог пережить того, что моя мать перестала его любить. Понимаешь? Не смог. И я боюсь, что во мне сидит эта его слабость. Стоит мне приехать к тебе, заглянуть в твои глаза и понять, что ты стала другой — и я ломаюсь. А я не имею права ломаться. Мне нужно работать, кормить мать, выживать. Я не могу позволить себе быть счастливым. Это слишком большая роскошь для таких, как я.

Я слушала его, и где-то под рёбрами нарастал горячий комок. Гнева, боли, жалости — всего сразу. Я встала со стула, подошла к нему и опустилась перед ним на колени. Взяла его руки в свои. Они были холодные, несмотря на огонь.

— Посмотри на меня, — велела я.

Он подчинился. Наши лица оказались совсем близко. Я видела каждую морщинку у его глаз, каждую неровность на коже, каждую тень, которую оставили эти месяцы разлуки.

— Я здесь, — сказала я. — Я приехала. Я выбрала. Понимаешь? Это не письмо, не обещание, не сон. Это я, живая, настоящая, рядом с тобой. И мне плевать, сколько у тебя денег. Мне плевать, что скажут мои родители. Я хочу быть с тобой. Если ты прогонишь меня сейчас, я уйду. Но знай: уйду я не потому, что перестану любить. А потому, что ты сам решишь, что не достоин этой любви.

Джек смотрел на меня так, будто видел впервые. В его глазах что-то боролось — страх и надежда, как две волны, сталкивающиеся во время шторма. Он поднял руку и осторожно, едва касаясь, убрал прядь волос с моего лба.

— Ты понимаешь, на что идёшь? — спросил он хрипло. — Твоя семья отречётся от тебя. Твой Генри...

— Генри — хороший человек, — перебила я. — Но он не ты. Он никогда не был тобой. Понимаешь? Я не выбираю между хорошим и плохим. Я выбираю между пустотой и полнотой. Между жизнью, которую за меня написали, и жизнью, которую я хочу прожить сама.

Он закрыл глаза. Я видела, как вздрагивает его кадык, как напрягаются плечи. Потом он вдруг наклонился и прижался лбом к моему лбу. Мы дышали одним воздухом, и я чувствовала, как бешено колотится его сердце — или, может быть, это моё отдавалось у него в груди.

— Я люблю тебя, Элис, — прошептал он. — Любил с той самой секунды, когда ты подошла ко мне на берегу и сказала, что это частный берег. Я не переставал любить тебя ни на один день. Даже когда решал, что мы не должны быть вместе. Особенно тогда.

— Тогда скажи, что мы будем вместе, — потребовала я. — Прямо сейчас. Без всяких «но».

Он открыл глаза. В них был огонь. Не отблеск печи — другой, внутренний, тот, что я видела на пляже, когда он играл на скрипке.

— Мы будем вместе, — сказал он. — Клянусь. Я больше не отпущу тебя.

Он поцеловал меня. Впервые по-настоящему. Это был не тот робкий поцелуй, какие случаются между подростками на заднем дворе. Это был поцелуй, в котором было всё: месяцы разлуки, боль, надежда, злость, нежность. Он целовал меня так, будто хотел вдохнуть в себя мою душу. Я отвечала ему, вцепившись пальцами в его рубашку, и за окном в это время бесновался шторм, но нам было всё равно.

Ночью я лежала в комнате, которую выделила мне Рут. Маленькая, но чистая, с узкой кроватью и распятием на стене. Сон не шёл. Я смотрела в потолок и прижимала к груди деревянную чайку. Дождь стихал, и в тишине я слышала, как в соседней комнате ворочается Джек. Между нами была тонкая стена, но теперь мне казалось, что её нет.

Под утро я накинула платье и спустилась вниз. Джек уже

был на кухне. Он стоял у окна и смотрел на улицу. Небо за окном было бледно-розовым, как внутренность раковины. Шторм ушёл, оставив после себя мокрый город, пахнущий солью и свежестью.

— Не спится? — спросил он, не оборачиваясь.

— Я хочу написать матери, — сказала я. — Она должна знать, что я не вернусь в колледж.

Джек обернулся. В его глазах было что-то новое. Твёрдое. Взрослое.

— Ты уверена? — спросил он. — Это разорвёт её сердце.

— Она переживёт, — ответила я. — Но я не переживу, если сейчас струшу.

Он подошёл, взял моё лицо в ладони и поцеловал в лоб.

— Я пойду искать работу получше, — сказал он. — Найду жильё. Домик на окраине, с верандой. Пока не с колоннами, но у нас всё будет. Обещаю.

— Мне не нужен дом, — тихо ответила я. — Мне нужен ты.

Он улыбнулся. Впервые за всё время — по-настоящему, открыто, как тогда, в Нью-Берне, когда мы смеялись под дождём. И в этой улыбке я увидела наше будущее. Хрупкое, как деревянная чайка, но живое.

Через два дня я отправила письмо матери. Короткое, на одной странице. Я писала, что встретила человека, с которым хочу прожить жизнь. Что не вернусь в Бостон. Что буду ждать её ответа, но не нуждаюсь в её благословении. Я знала,

что этот поступок перечеркнёт всё, к чему меня готовили. Знала, что отец, возможно, вычеркнет меня из завещания. Знала, что Генри будет в ярости. Но когда я опускала конверт в почтовый ящик на углу, мои руки не дрожали.

Рядом стоял Джек. Он держал меня за руку, и его ладонь была тёплой и сухой.

— Всё будет хорошо, — сказал он.

— Знаю, — ответила я.

Я не знала, правда ли это. Но я верила. А вера — это то, что сильнее любых писем, сильнее штормов, сильнее времени.

Глава 6. Ответ матери

Рассказчик: Элис Грин

Чарльстон, январь 1964 года

Январь в Чарльстоне был мягким, но промозглым. С океана дул влажный ветер, пробирающий до костей, и по ночам я слышала, как он гудит в печной трубе, будто хочет проникнуть внутрь, отыскать нас и напомнить, что за стенами дома существует огромный, недружелюбный мир. Мы с Джеком жили в маленьком домике на окраине, который он снял за бесценок. Две комнаты, кухня с покосившимся буфетом, скрипучее крыльцо. Полы были неровные, окна дребезжали при каждом порыве ветра, а труба дымила так, что мы по вечерам кашляли, как старики. Но я любила этот дом. Любила его за то, что он был наш.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.